

О научной традиции в семье, занятиях музыкой, научных кампусах, разгроме генетики и начале исследовательской деятельности

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1467>

4 октября 2012

Собеседник

Богданов Алексей Алексеевич

Ведущий

Богатова Татьяна Витальевна

Дата записи

Беседа записана 4 октября 2012 и опубликована 10 января 2014.

Введение

Не только научная, но и личная биография Алексея Алексеевича Богданова связана с историей научной интеллигенции советского и императорского времени. Отец — геолог-тектонист, декан геологического факультета МГУ. Дед по материнской линии В.С. Буткевич — профессор Московского университета и Тимирязевской академии, физиолог растений и биохимик. В кампусе Тимирязевской академии прошли первые восемнадцать лет жизни ученого, сформировался интерес к химии. Алексей Алексеевич много работал по проблемам биохимии комплексов нуклеиновых кислот с белками; разработал новое направление в биохимии; читал курсы по молекулярной и клеточной биологии во многих университетах мира.

Первая беседа посвящена воспоминаниям о разных периодах обучения — школьном, внешкольном, университетском, семейном; и событиях общественной и научной жизни 1940—1970-х годов, среди которых печально известный мракобесный погром генетики и всей биологии 1948 года под руководством псевдоученого академика Т.Д. Лысенко.

О Тимирязевской академии

Татьяна Витальевна Богатова: Алексей Алексеевич, [расскажите] про вашу жизнь, про детство, про вашу семью...

Алексей Алексеевич Богданов: Начну с того, что родился я давно, в 1935 году, 11 октября, и в следующий четверг мне будет уже семьдесят семь лет, так что жизнь очень длинная. Моя жизнь так сложилась, что я прожил ее всю практически в различных кампусах. Первый кампус, где я родился и где прожил первые восемнадцать лет, — это Тимирязевская академия. Дело в том, что мой дед по материнской линии, Буткевич Владимир Степанович, был очень известным в свое время микробиологом. Не могу сказать, что он сейчас совершенно забыт, иногда, как ни странно, на его работы 1930-х годов появляются ссылки в литературе, но, в общем, о нем уже мало кто знает. Когда я родился, он заведовал кафедрой микробиологии и физиологии растений в Тимирязевской академии, и жили мы в химическом корпусе, который до сих пор еще существует. В Тимирязевке его называли «Химичка». Он был устроен таким образом: в центре здания аудитория — тогда самая большая в Тимирязевской академии, химическая, по бокам крылья, сзади тоже — это лаборатории. Эти крылья примыкают к двум боковым крыльям, трехэтажным, где находились квартиры профессоров. И некоторые профессора, которые работали в химическом корпусе, например, знаменитый химик-органик академик Демьянов, он просто из своей квартиры пересекал лестничную площадку и входил в свою лабораторию. Точно так же в другом крыле жил очень известный химик, тоже связанный с Московским университетом, Каблуков, который тоже по первому этажу ходил... ну, может, не в свою лабораторию, но читать лекции — он никогда на улицу не выходил. Квартира моего деда находилась в одном из этих крыльев, и все детство и сознательная юность, за исключением нескольких лет (на два года мы уезжали во время войны в эвакуацию в Уфу), — вся остальная жизнь прошла там. И конечно, это была очень своеобразная среда. Надо сказать, что

” Тимирязевская академия до лысенковского разгрома в 1948 году после Московского университета, наверное, была наиболее высокообразованным сообществом.

Очень много ученых там было связано с Московским университетом: тот же Каблуков, тот же Демьянов, еще гораздо раньше — мой однофамилец Богданов, зоолог, который основал музей зоологии в Московском университете. Тимирязевская академия находилась далеко, за городом фактически. Это сейчас уже близко, можно считать, почти центр города, а раньше за городом, туда ходил паровичок — небольшой поезд от Савеловского вокзала, и все профессора ездили оттуда, иногда им даже приходилось ночевать где-то в центре Москвы. Вся эта публика, все эти люди жили концентрированно, либо в домах прямо в кампусе Тимирязевской академии, либо... был такой, он теперь называется, по-моему, Красностуденческий проезд. Там было целое поселение, очень похожее на деревню, и в отдельных домиках жили профессора академии. Соответственно, было сообщество их жен, к которому принадлежала моя бабушка. Это то, что я уже гораздо лучше помню: война началась, когда мне не было еще шести лет, и мы довольно скоро уехали в эвакуацию в Башкирию, потому что там еще до войны мой отец руководил экспедицией. Отец мой был геологом, он уже потом, в конце 1940-х годов начал работать в Московском университете, и был он проректором, довольно заметным, потому что отвечал за переезд университета в новое здание.

Т.Б.: Да, это была целая эпопея.

А.Б.: Его Иван Георгиевич Петровский, ректор тогдашний, уговорил взяться за проректорство. А до этого у него был опыт руководства большими геологическими экспедициями, и, собственно говоря, в геологическую экспедицию мы к нему и уехали, были там два года во время войны. Мой дедушка и моя бабушка оставались в Москве, и дед мой в 1942 году умер, пока мы находились в эвакуации. И когда вернулись, я, так сказать, больше уже наблюдал жизнь не профессорского сообщества, а их жен, в основном вдов, которые очень дружили с моей бабушкой; они вместе собирались. Это, должен я сказать,

была необычная высокоинтеллигентная среда... Мы всегда очень смеялись, когда они — там была булочная, в которой нужно было по карточкам получать хлеб — и когда все эти дамы, весьма пожилые, собирались в очереди, они разговаривали друг с другом по-французски.

Т.Б.: Да что вы?! Наверное, у всех за спиной были высшие женские курсы.

А.Б.: Просто они все родились между 1870-м и 1890 годом, то есть они очень хорошо в гимназии учили иностранные языки. А здесь, чтобы не забывать, они... В общем, это было забавно. И конечно, одно из ярких воспоминаний — ну вот что касается будущих занятий наукой.

” Понимаете, когда живешь в такой среде, на сто процентов твоя судьба predetermined: какой-нибудь наукой ты будешь заниматься.

У нас было несколько школ вокруг Тимирязевской академии, но везде нужно было ездить на трамвае. В самой Тимирязевке была не очень удачная школа, где никто не учился из местных. Все мы учились в замечательной 218-й школе, которая существует до сих пор, и она находится в районе... не на Окружной, а на Рижской дороге есть станция «Гражданская», где заканчивается Тимирязевский лес огромный. Вообще, это тоже замечательная деталь нашего детства, потому что в самой Тимирязевской академии главный корпус — это дворец Разумовского, он сейчас, между прочим, отреставрирован, находится в прекрасном состоянии, а зади посаженный еще в середине XVIII века парк огромный с прудами. Все детство проходило в этом парке и лесу — лес, который в значительной степени до сих пор сохранился, он от Тимирязевской академии до самой Окружной дороги продолжается. Наша школа была тоже недалеко от леса, поэтому у нас всегда были очень сильные лыжники в школе. Но если говорить, как потом люди попадали в науку, — очень многие шли учиться в университет, в очень хорошие вузы: школа была сильная.

Т.Б.: В Тимирязевку, наверное, тоже поступали?

А.Б.: В Тимирязевку не очень, это я расскажу потом. Это по другой причине. Просто когда мы заканчивали, эта была уже совсем другая Тимирязевка. А в эту школу шли, потому что там были замечательные учителя. Мне не хочется ничего плохого сказать о нашей учительнице химии, Анне Ивановне, она была очень симпатичная старушка, очень добрая, но как раз она не могла, так сказать, людей настроить на то, чтобы они шли потом заниматься химией. И тем не менее из нашей школы на химфаке был профессор Голубев Владимир... не помню, как его отчество...

Т.Б.: Борисович.

А.А.: Потом вот Юра Житнев, Володя Зломанов. На нашем курсе был такой Олег Чижов, выдающийся химик, он потом в ИОХе работал, к сожалению, рано умер. Может быть, на нашем курсе он был самый сильный, ученик Николая Константиновича Кочеткова. Как это получалось? Все мы были в ареале Тимирязевской академии, где всегда была очень сильная химия. И жили в химическом корпусе, а вокруг были лаборатории, в которые можно было совершенно свободно приходить, смотреть и даже что-то там делать. Я свои первые синтезы, в восьмом-девятом классе, делал у знакомого моей мамы, которая была микробиологом. Она тоже там работала, в Тимирязевке. Я к нему приходил и там химическими экспериментами занимался. Весь наш двор, туда после войны было привезено огромное количество шотовской посуды трофейной, он был заполнен этой посудой. У меня до сих пор в сарае на даче лежат некоторые колбочки шотовские, которые оттуда мы таскали.

Т.Б.: Как память детства.

Разгром Тимирязевской академии во время лысенковщины

А.Б.: Да. И поэтому для многих это было совершенно естественно — увлечение химией. Но оно было

на базе Тимирязевской академии. Ситуация изменилась в 1948 году, когда началась лысенковщина, и Тимирязевка пострадала гораздо больше, чем даже биологический факультет Московского университета. Считается, что самый страшный разгром был здесь, в МГУ, но это не совсем так. Конечно, некоторые выдающиеся биологи потеряли работу, не смогли этого перенести и умерли, например профессор Сабинин, который, кстати, в Тимирязевке тоже работал. А в Тимирязевской академии это был просто тотальный разгром: был уволен ректор академии, знаменитый экономист Немчинов, все руководство, все заведующие кафедрами. Так что после окончания нашей замечательной школы я не помню ни одного случая, чтобы кто-нибудь пошел учиться в Тимирязевку, все пошли в хорошие другие институты. Вот такой необычный путь попадания в химию.

Т.Б.: Да, необычный. Алексей Алексеевич, вот вы говорите про разгром. А это как-то сказалося на жизни сообщества, которое жило при академии?

А.Б.: Сказалося очень грустным путем. Поскольку химическая аудитория использовалась как место, где устраивались панихиды, мимо наших окон все время проходили похоронные процессии профессоров.

Т.Б.: То есть многие не вынесли?

А.Б.: Отец того же Голубева, которого вы прекрасно знаете, он был заведующим кафедрой агрохимии. Его выгнали, и через полгода он умер. Было очень грустное время. Но с другой стороны — там Лысенко без конца выступал, мы ходили слушать его выступления.

Т.Б.: И какое они произвели на вас впечатление?

А.Б.: Ну, потрясающее! *(Смеется.)* Нес он бог знает что, но поражал, конечно, стиль. Дело в том, что эта аудитория была известна в Тимирязевке еще тем, что там устраивались литературные вечера, был такой замечательный человек — я не знаю, он чтец, или как это называлось, — который читал и рассказывал очень много о литературе, — Журавлев, он там регулярно выступал. И там же устраивались публичные лекции. Очень много лекций по химии я там прослушал.

Т.Б.: А кто читал лекции в ваше время?

А.Б.: Я, например, очень хорошо помню, что туда приезжал Терентьев Александр Петрович, туда приезжал совсем еще молодой Алексей Николаевич Кост. Я был на лекции Казанского. Много университетских профессоров там читали. И вообще говоря, эти связи с химфаком — поскольку там были Каблуков и Демьянов когда-то — они сохранялись потом очень долгие годы, например, очень яркий человек был на химфаке — Игорь Александрович Грандберг*, он ушел туда заведовать кафедрой органической химии в свое время. И туда ушел один из моих самых талантливых однокурсников,

* Оговорка: Игорь Иоганнович Грандберг.

” Виктор Николаевич Дрозд, ученик Сазоновой и Несмеянова, который, вообще-то говоря, в порядке хозяйственного договора с военно-химической академией изобрел бинарное химическое оружие — это нигде даже не было отмечено. Он получил свои восемьдесят рублей по хоздоговору, а пять человек из этого института получили генеральские погоны.

Так что там всегда была сильная химия. Атмосфера и люди. Я могу привести пример своего деда, он был не просто микробиологом, он был еще и очень хорошим биохимиком. Он интересовался, скажем, фиксацией азота, этой проблемой занимался; его ранние работы были по биотехнологии, по методу получения щавелевой кислоты. То есть он химию знал блестяще — соответственно, люди, которые работали на его кафедре, тоже все пользовались химическими методами. А потом, когда туда приезжал Лысенко и нес бог знает что... Сам стиль был замечательный. Я никогда не забуду, как на одной из лекций

ему задали вопрос, связанный с работами Прянишникова. Был такой, можно сказать, отец отечественной агрохимии Дмитрий Николаевич Прянишников, в Тимирязевке работал, он даже был когда-то ректором Тимирязевской академии, и потом многие-многие поколения учились по его учебникам. Первое, что заявил Лысенко: «Этот учебник из библиотеки Тимирязевской академии убрать и никогда его больше в руках не держать». Объявил студентам, что все это ересь. И второй такой эпизод я помню. Сидела рядом с ним его жена — не знаю, на всех лекциях или нет, но на той, о которой я говорю, — и ему прислали огромное количество записок. Жена достала хозяйственную сумку, такую кошелку, какие после войны были, открыла и смела туда все эти записки. Вернее, он сказал так: «Давай, забери — дома почитаем». *(Смеется.)*

Т.Б.: А о чем он говорил на лекциях? Это были популярные агитские лекции?

А.Б.: Нет, он говорил о своих измышлениях. Дело в том, что его главная цель была —разоблачить вейсманистов-морганистов, потому что Тимирязевка, безусловно, была одним из оплотов. И там был, например, замечательный генетик Жебрак, которого тогда разгромили. Он вообще-то был белорусский академик... И в основном он [Лысенко] говорил о том, что генов нет, что все это, так сказать, буржуазный идеализм. *(Смеется.)* Что есть внешняя среда... Рассказывал всякие истории, которые жулики, что вокруг него крутились, создавали: как из сосны вырастает елка. Вот в таком плане. Так что это была его серия выступлений после печальной сессии ВАСХНИЛ 1948 года. Слушал я там также лекцию еще одного жулика... Понимаете, про Лысенко нельзя даже сказать, что он был жулик, он, скорее, был просто фанатик. Настоящий фанатик, который пользовался грязными приемами, но он был фанатик, потому что он в это фанатически верил. А вокруг него, как всегда в таких случаях, сразу образовалось некое сообщество, которое ему подсовывало всякие результаты: все что хотите. Может быть, я позже об этом буду рассказывать, но... это было в лаборатории химии белка тоже, откуда потом появилась наша кафедра. И именно такая ситуация, потому что там тоже был человек, который фанатически верил в свою неправильную гипотезу, теорию — Гаврилов Николай Иванович — но он исходно был совсем неплохой химик, биохимик с очень хорошим образованием, ученик Косселя. Но было много жуликов вокруг, грубо говоря. И та же история с Лысенко. Конечно, на Тимирязевку это произвело, я бы сказал, необратимое действие, она не оправилась после этого никогда. Там исчезла настоящая наука, и долгое время, может быть, там еще совсем неплохо преподавали, — вообще была такая традиция, что там учились люди, приезжавшие из колхозов, их туда направляли. И вот, скажем, моя мать, она учила их микробиологии, она всегда поражалась, как приходили крестьянские девушки и за год перерождались в совершенно других людей. Так что в каком-то плане она свое дело делала, но высокая наука, которая была туда заложена с конца XIX века, она была там изничтожена. Вот это — первый кампус, в котором мне посчастливилось жить. Там, конечно, было интересно, все мои друзья, с которыми я общался...

О друзьях и школьных учителях

Т.Б.: А кто они были? Кем стали?

А.Б.: Один мой близкий друг, мы просто жили в одном доме, — я пошел на химфак, он пошел на биофак. Он кончил биофак, стал биофизиком, в Пуццино работает сейчас.

Т.Б.: А как его фамилия?

А.Б.: Фамилия его — Ерохин. Понимаете, у меня с отчествами плохо... Юра и Юра... Он там заместитель директора Института фотосинтеза.

Т.Б.: Он тоже продолжил традицию Тимирязевки — научную, биолого-химическую?

А.Б.: Он туда более-менее случайно попал, его мама была учительницей в одной из местных школ.

Т.Б.: Ну, значит, атмосфера его...

А.Б.: Атмосфера конечно. Это была, с одной стороны, атмосфера науки — у брата моего тоже вопрос

не возникал: он пошел по стопам отца, в геологи, он был членом-корреспондентом и директором академического института в последние годы. Но в то же время там была еще атмосфера спорта, и это было совершенно не странно, это замечательно сочеталось, у нас в школе была такая идеология: нельзя было не заниматься спортом. Поскольку школа стояла на краю Тимирязевского леса, там была сильная лыжная команда, неспроста тот же самый Зломанов был очень сильным лыжником. Ну и все мы, когда на химфаке учились, тоже на лыжах бегали в разных командах. Школа наша выигрывала первенство Москвы по лыжам. Второе — футбол, потому что в самой Тимирязевской академии был вполне приличный стадион, вполне приличное футбольное поле, и там организовывали детские и юношеские команды, они тоже участвовали в каких-то первенствах, то есть в самой Тимирязевской академии в 1940-е годы — начале 1950-х был культ футбола. Все играли в футбол летом и гоняли на лыжах зимой. Такая, я бы сказал, здоровая была атмосфера.

Т.Б.: А из подробностей, из каких-то деталей школьных что запомнилось? Что тогда было, а сейчас ушло из школьного обучения, школьного быта?

А.Б.: Запомнилось, конечно, много, потому что школа была очень хорошая. Подавляющее число наших учителей — это были старые люди, которые получили образование до революции. Очень интеллигентные, многие из них попали в эти места в силу каких-то, может быть, грустных обстоятельств. В свое время из центра Москвы, поскольку у них были родственнички не те, что надо, их переселили. Например, там была знаменитая преподавательница русского языка. Мы с братом у нее занимались частно, потому что у нас не очень хорошо было с грамотностью с детства, хотя книжки все время читали, но, видимо, так устроены были мозги. Нас к этой Наталье Александровне... Фамилия у нее была Дурново. Она была, следовательно, дочкой одного из губернаторов Москвы*. И вот таких учителей со сложной биографией было довольно много. У нас совершенно была замечательная преподавательница математики, просто прекрасная. Очень был своеобразный преподаватель, он тоже математику преподавал, астрономию, Виктор Николаевич Кантонистов, он у нас был завучем в школе. А директором была мама Зломанова, Анна Ивановна Зломанова. Может быть, нашему классу не особенно повезло, потому что у нас был очень хороший человек, он пришел с войны, прямо с пятого класса и до десятого вел литературу и русский язык и был у нас классным руководителем. Уровень был невысокий, он с чисто человеческой точки зрения многому хорошему нас научил, а в том, что касается литературы, это было все достаточно формально. Брат мой учился у одной очень известной — заслуженного учителя и все прочее... Ну, что я могу сказать — учили нас здорово. Просто здорово нас учили. И физика, и математика. Химия была послабее, но те, кто тянулся к химии, мы ведь все потом ездили в кружок сюда, в старое здание университета.

* Единственного генерал-губернатора Москвы с фамилией Дурново звали Петр Павлович, так что он не мог быть отцом Натальи Александровны. По всей видимости, речь идет о Наталье Александровне Дурново, младшей сестре искусствоведа Лидии Александровны Дурново (1885—1963).

Т.Б.: А кто здесь вел кружок?

А.Б.: У меня — Ершов. Я не могу сейчас вспомнить, как его звали. Он потом с химфака ушел, работал в химфизике. Пожалуй, когда мы уже заканчивали химфак, он перешел в химфизику. Шефом над всем этим делом был Кост, но он не очень нами занимался, ему было не до нас. А он в лаборатории Коста работал, Ершов. Или у Терентьева, ну, в общем, это все одна лаборатория. И все ребята, которые потом поступили на химфак или в Менделеевский, в тонкую химическую технологию, — наверное, человека четыре из класса... не из класса, а из выпуска — у нас было три класса, — стали заниматься химией. Несколько человек на физфак, математиков у нас не было, насколько я помню.

Т.Б.: А много поступили в вузы после окончания?

А.Б.: Все, по-моему. Некоторые оказались в военных вузах, в академию поступили.

Т.Б.: Да, очень сильная школа получается.

А.Б.: У нас еще был, конечно, замечательный язык, что тоже не очень обычно было для школ того

времени. Тогда все учили немецкий после войны. У меня брат двоюродный, с которым мы вместе росли, он в центре жил, в 110-й школе учился знаменитой. У него был английский. И это был редчайший случай. А у нас мало того, что мы учили немецкий, у нас все три каким-то неизвестным образом... вернее, последняя учительница — понятно почему, — они все были немки. Эрн Робертовна, наша последняя учительница в восьмом, девятом, десятом классе, у нее был муж то ли генерал, то ли полковник. Немцев вообще-то высылали. А эти все трое, будучи немками, сохранились. Когда я поступал в университет, не буду врать, у меня не было медали. Дело в том, что я еще очень серьезно в это время учился в музыкальной школе.

Т.Б.: На фортепиано?

Поступление в университет

А.Б.: На скрипке. Что тоже было, я бы сказал, принято в этой среде, в Тимирязевке. Там была местная, не очень сильная, но вполне приличная музыкальная школа Тимирязевского района, где у нас многие учились. И поскольку я много занимался музыкой и своей собакой (*смеясь*), на медаль я не тянул. Только в десятом классе все замечательно пошло, у меня получалась серебряная медаль. И тогда этот Анатолий Николаевич, наш классный руководитель, позвал мою маму и говорит: «Знаете что...» Они знали, что у меня отец в университете, он как раз в это время был проректором. Они говорят: «Он у вас и так поступит в университет, а у нас есть ребята, которым это очень важно, другому человеку бы отдали медаль». И поэтому я поступал в те годы, когда сдавали...

Т.Б.: Иностраннный язык в том числе.

А.Б.: У нас было семь экзаменов или что-то в этом духе. По-моему, тридцать пять очков нужно было набрать. И в том числе иностраннный язык.

” И действительно, поступать мне было легко, прямо скажем. Иногда до неприличия. Никогда не забуду: к Костину-старшему, который был замдекана на химфаке, я попал сдавать химию. Он взял мои листочки и поставил пятерку. Не стал меня спрашивать. Было даже, я бы сказал, унизительно.

Богданов Алексей Алексеевич — это у всех на слуху было, потому что 1953 год, как раз переезд идет в новое здание. Богданов, Богданов, Богданов — и тут еще Богданов. Он посмотрел на меня, заглянул, задачка там была... Иди, говорит. А вот немецкий язык я сдавал — ни одного слова по-русски не произнес. И правила и все, мы с ней по-немецки поговорили. Потом все это было вытеснено начисто английским языком. Мне уже в 2000-е годы много пришлось... Последние двадцать лет, я бы так сказал, мы очень тесно сотрудничали с немцами в Берлине, с одним институтом, которые, можно сказать, нашу лабораторию спасли. И много я там времени проводил, потом у меня была Гумбольдтовская премия, я должен был там семь месяцев сидеть. Ну я так, по частям работал. И — ушел немецкий язык. Совсем.

Т.Б.: То есть пришлось возобновлять все?

А.Б.: Я ничего не возобновлял. В институте нельзя было по-немецки говорить, там такое правило.

Т.Б.: Почему?

А.Б.: Директор [Института] Макса Планка решил: чтобы немцы все время тренировались в английском. Где-то, может быть, лаборанты между собой переговаривались по-немецки. Нет, конечно, какие-то слова, выражения всплывали, но это совсем не то. Просто обидно, что когда-то был очень хороший уровень. А тут, на химфаке, начался сразу с первого курса английский.

Т.Б.: Когда не пользуешься, действительно все быстро уходит.

О 218-й школе

А.Б.: Ну, не только. Может, потом до этого дойдем: из-за того, что я в Америке много времени провел, он уже, конечно, вытесняет все, английский... Так что были очень хорошие языки. У многих была очень хорошая литература, математика у всех была блестящая. Химия была средненькая, но ничего так.

Т.Б.: Зато лаборатория рядом.

А.Б.: Да, можно было пойти поработать, всякие синтезы поделывать.

Т.Б.: Допустим, школа по уровню преподавания хорошая. А общественная работа в этой школе была? Увлекала она вас или не очень — в силу особенностей школы?

А.Б.: Конечно была. У нас были те же самые пионерские отряды с барабанами (*смеясь*). Может быть, внешне, но эти все сборы, линейки, барабаны. Школа мужская была, имени Олега Кошевого, какая-то особенная была дружина. Потом всякие комсомольские дела. У меня нет таких воспоминаний, что комсомольский период был очень формализованным.

У нас были замечательные газеты, потому что Голубев, он уже в те годы был выдающимся фотографом (*смеясь*). А потом общественная жизнь, она была вся, конечно, в спорт. Был такой культ спорта: волейбол, баскетбол, а уж лыжи и футбол... На это уходило все свободное время. Как всегда тогда в Москве, где-то на полпути от нас до Тимирязевки была женская школа, очень хорошая. Там были девочки, с которыми мы дружили, на танцы мы ходили, нас учили бальным танцам в девятом классе. Все ходили учиться бальным танцам.

Т.Б.: Ну да, чтобы соответствовать.

А.Б.: Воспоминания очень хорошие... Потом такая сложилась ситуация: была Хрущевская реформа в конце 1950-х, когда из некоторых школ начали делать, по сути, ПТУ. Их стали профилировать очень сильно в сторону практической деятельности. И на какое-то время наша школа в это попала. Ольга Ивановна ушла из директоров... И я со своими, с тем же Зломановым, который до сих пор ходит туда на все вечера, не очень тогда обсуждал все это, в те годы. Мне казалось, что наша школа кончилась. А потом, в 1990-е годы, когда началась соросовская образовательная... Помните, такая была — получали поддержку от Сороса, от его фонда? Первый признак, что школа существует, проявился таким образом: однажды школа, которая находится на юго-западе, устроила Московскую биохимическую олимпиаду. Она была, может быть, один или два раза всего. И они попросили меня быть там зицпредседателем. А когда олимпиада прошла, я им говорю: «Ну, вы мне все-таки принесите работы победителей». И вдруг среди победителей я вижу: одна работа из 218-й школы, вторая из 218-й. Я стал выяснять, и выяснилось, что школа прекрасно существует, там есть биохимический класс с одним замечательным преподавателем, я потом с ним познакомился. Потом уже два человека, учитель математики и он, прошли в соросовские учителя в первых рядах (*стали лауреатами Фонда Сороса среди учителей средних общеобразовательных учреждений. — Ред.*).

Т.Б.: Вот, видите, не пропало все-таки зря прошлое этой школы.

А.Б.: Нет, не пропало. (*Смеется*.) Я туда съездил однажды, познакомиться с этим учителем, и школа очень хорошо была отремонтирована, физкультурный зал надстроили, еще сделали один актовый зал... В общем, школа процветает. Процветала, по крайней мере, несколько лет тому назад. Сейчас им всем несладко приходится.

Т.Б.: Да, химию везде подсократили. Хорошо, вот школу вы закончили. И у вас вопрос уже не возникал, куда поступать. Вы уже были сориентированы на химию?

О научных интересах в сфере химии

А.Б.: Да, сориентирован я был на химию, наверное, последние три года. В девятом классе. В десятом я мало ходил в кружок, помню, меня тогда ругали сильно. А в девятом я как раз плотненько ездил, раз в неделю. Это было в старом здании, в красненьком. И поэтому даже вопрос не возникал: химический факультет. *(Смеется.)*

Т.Б.: У вас какое было представление, когда вы поступали на химический факультет? Что вам хотелось от будущей профессии, как вы себе представляли ваше будущее в этой профессии?

А.Б.: Мне хотелось заниматься органической химией. Это совершенно определено. Синтез, это все меня очень привлекало, кое-чему я уже научился к этому времени, и руками что-то мог делать. Тут есть еще одна деталь: органический синтез органическим синтезом, но

” во мне еще сидел сильный интерес к биохимии, — это уже по дедовской линии, по линии мамы. Так что все, что касалось биологии, которая лежит на границе с химией, мне еще в школьные годы ясно было, что все это мне интересно.

А потом, понимаете, мой отец не с молодых лет в университете оказался. Его в году, наверное, 1948-м пригласили заведовать кафедрой. Был такой Милановский — он умер, и моего отца позвали в университет.

Т.Б.: А он до этого где работал?

А.Б.: В МГРИ. Это геологоразведочный институт. Когда-то это была часть университета, и, конечно, они там все были тесно связаны. Он в геологоразведочном институте заведовал кафедрой, а его переманили в университет. У меня был родственник, муж моей тетки, Николай Николаевич Зубов, личность легендарная, полярный географ. Он работал в университете в те годы. Я очень хорошо помню, как они сидели на даче (мы до сих пор живем на даче, которую построил мой дедушка Владимир Степанович Буткевич, а тетка моя жила напротив, через дорогу), и вот они сидели с Николаем Николаевичем, и тот ему говорил: «Ну о чем ты думаешь? Тебя зовут в Московский университет, ну что тебе этот твой геологоразведочный, ты даже не понимаешь. Университет потом будет строиться, всякие новые здания. Время такое наступает», — он отца уговаривал перейти. Когда уже папа мой втянулся в университетскую жизнь, его Иван Георгиевич проректором уговорил. Он был всего, по-моему, два или три года проректором. Они договорились, что когда переедут в новое здание, его отпустят.

” И какой-то был культ университета. Это понятно, потому что в те годы, когда только начали строить новое здание, только об этом все и говорили в Москве.

Никогда не забуду, как я пришел в какую-то поликлинику, там сидела старенькая врачиха, которая мне сказала: «Ну вот, поступите в университет...», — то есть это даже не обсуждалось. Так что это было очень естественно, так же, как совершенно не возникал вопрос, что это будет химфак. Репутация у химфака тогда была высочайшая. Сейчас всех звезд не перечислить, которые в то время были на химфаке. Я поступил на химфак, и там произошла довольно забавная история: я чуть было не изменил органической химии, потому что моя преподавательница, незабвенная Наталья Сергеевна Тамм, еще очень молодая — она тогда уже защитила, у нее появился сын к этому времени — была совершенно потрясающим педагогом. Она меня увлекла неорганической химией, я стал у нее делать курсовую работу

и на втором курсе опять стал ходить на кафедру неорганической химии. Раньше органическую химию начинали читать на втором курсе, Несмеянов читал на втором курсе и первый семестр третьего курса, а параллельно шли методы органической химии до конца третьего курса. В общем, началась органика. И тут я подумал: «Боже мой, что же я делаю-то?..» (*Смеется.*) И в этот момент мой приятель, с которым мы в одной группе учились... Там была аналитическая химия, она меня особенно не трогала, интересно было все это проделывать, поскольку, когда химию любишь — вся химия интересна.

Т.Б.: Тем более что там много опытов было.

О жизни и работе Е.Г. Антонович

А.Б.: Да, там в качественном анализе нужно было логически соображать. Так вот, один мой приятель из группы начал ходить в лабораторию химии белка. И он мне говорит: «Пойдем, я тебя отведу в эту лабораторию к своей преподавательнице, у которой начинал работать, там поговоришь». Там, говорит, есть органический синтез, там и белок, в общем, все... Я про эту лабораторию толком ничего не знал тогда. Я пошел с ним, и она меня отвела немедленно к человеку (вот, фотография висит)... Ее звали Елена Григорьевна Антонович, она была ассистентом на кафедре. Это была часть кафедры органической химии, мы находились на пятом этаже, наверху. Елена Григорьевна — личность легендарная, она еще работала в лекционной и ассистировала всем, Зелинскому на фоне его знаменитого ассистента, которого Зелинский все-таки пережил. Такой есть анекдот, можем посмотреть сейчас... Нет, это у меня дома, воспоминания дочери Зелинского. Вы их видели, нет?

Т.Б.: Видела, не все еще прочитала.

А.Б.: Интересные. Она о нем много пишет. Про него всегда анекдот был на химфаке: «Вы думаете, Зелинский изобрел противогаз? Противогаз изобрел я, потому что он там что-то намешал, потом на меня надел и стал меня хлором травить». (*Смеется.*) Она прошла школу другого демонстратора, и она была у всех: и у Несмеянова, правда, еще в старом здании ассистировала, и потом здесь уже, в новом здании, у Реутова показывала, когда он биологам читал. Еще она вела практикум по органическому анализу. В общем, это уникальный человек, она просто тут жила. Жизнь сложилась тяжело, она в Белоруссии родилась, попала через комсомольскую работу на рабфак. Она была членом партии с 1921 года, в 1937-м расстреляли четырех ее братьев, которые работали в военной секции Коммунистической академии или что-то в этом духе, и здесь, на химфаке, ее из партии исключили.

Т.Б.: Ну, так полагалось.

А.Б.: И человек, которого она всю жизнь очень уважала и любила, проголосовал против ее исключения.

Т.Б.: Это кто же был такой смелый?

А.Б.: Фамилия его была Райк. Как его звали, я не помню. Я к нему иногда заходил чайку попить. Короче говоря, она никогда не была замужем, у нее не было детей, ей достались дети ее братьев, которых она растила в жутких совершенно условиях, и заботилась об их семьях до самой смерти. У нас столько бытует ее поговорок и всего прочего... В общем, когда меня к ней привела Нина Алексеевна Поддубная, я еще не понимал, что попал в группу Прокофьева... Когда-то она работала вместе с Николаем Ивановичем Гавриловым, но сработаться с ним не смогла. Потом ее к себе позвал, году в 1950-м, Прокофьев, и она была ему предана, жизнь была готова за него отдать. Она была замечательный синтетик, очень красиво работала, здорово могла всему научить. У нее было гораздо труднее со всякой теоретической подготовкой, но тем не менее она в достаточно серьезном возрасте кандидатскую защитила. Меня она учила работать. Вот к ней я на втором курсе и попал.

Т.Б.: То есть еще в старом здании?

А.Б.: Нет. Вот, кстати, насчет нового здания и кампусов. Дело в том, что в старом здании мы поучились немножко. У нас там был практикум по неорганической химии. Я в 1953-м поступил, тогда открыли новое

здание. И на всех митингах был знаменитых. Но неорганическая химия и часть лекци[онных] — как раз вот эта часть, которая северная, химфака, она была еще не готова. В первый семестр 1953-го еще работали немцы, военнопленные. А вся остальная часть химфака функционировала, только вот это крыло доделывали, практикум по неорганической химии. Поэтому мы находились в органических практикумах в красном корпусе.

Т.Б.: То есть второй курс, органика, это было здесь?

А.Б.: Нет, неорганики у нас был один семестр в старом здании. И поэтому нам Тумаркин лекции там читал по математике, чтобы мы не мотались туда-сюда. В общем, для меня-то это был уже хорошо знакомый корпус, поскольку я туда в кружок ходил и на лекции, олимпиады, а многие ребята с курса хоть узнали, что такое старое здание. Отец мой получил квартиру в Главном здании, и еще в августе, до открытия университета, он меня сюда заселил одного. Я был первым жителем этих корпусов.

Т.Б.: Это та же квартира, где вы сейчас живете?

А.Б.: Я там живу с 1953 года. Поскольку какие-то лекции были здесь, я из одного кампуса переехал в другой. И когда я уже работал за границей, тоже так получалось, что жил в кампусах. У нас был период, когда много стало людей, моя теща построила квартиру на проспекте Мира в кооперативном доме, и мы некоторое время жили там, но потом вернулись сюда, когда мой папа умер.

Т.Б.: Вы пришли на кафедру органической химии...

А.Б.: Я пришел к Елене Григорьевне Антонович, которая сразу меня поставила на синтез, но это было уже связано с химией нуклеиновых кислот. И меня строго учила, по-настоящему. Она понятия не имела, откуда я, думала, я в общежитии живу... Ну, еще про методы ее обучения. Она, скажем, дала мне синтез, собирать приборы, я собираю прибор, считаю себя асом: я в школьные годы такие приборы собирал. И вот я какую-то лапку, помню, закручиваю, и мне сзади — раз! — по руке. «Ты что, хочешь холодильник раздавить?» В общем, у нее были совершенно простые методы. У нас про нее есть один рассказ. Знаменитый академик Евгений Давидович Свердлов работает в Институте биоорганической химии, у него там большая лаборатория. Долгое время он был директором Института молекулярной генетики... Женя Свердлов вообще-то был на кафедре радиохимии, но у Владимира Михайловича Федосеева были какие-то связи с Алексеем Борисовичем Силаевым, который в лаборатории химии белка работал, и часть его студентов работала у нас. И когда Свердлов учился в аспирантуре, он на пятом этаже, в нашей лаборатории делал какие-то синтезы, и к нему приходили студенты. Дело было, по-моему, летом. Это была лаборатория для вредных синтезов, там с фосгеном работали, — «светелка» называлась. Елена Григорьевна приходит в эту самую светелку и видит, что студент Свердлова заткнул все пробками и нагревает. Она подошла, спокойно выключила у него все горелки, спросила: «Ты кто?» Он в ответ: «Я такой-то такой-то...» — «А кто у тебя научный руководитель?» — «Женя Свердлов». — «А где Женя Свердлов?» А Женя Свердлов пошел покурить к памятнику Ломоносова.

Елена Григорьевна пошла к памятнику Ломоносова, взяла его за ухо и через весь химфак, держа за ухо, привела на пятый этаж, в «светелку». Из «светелки» выгнала студента, закрыла дверь, взяла шланг и начала за Свердловым гоняться. И его этим шлангом пороть.

Мы с ним эту историю регулярно вспоминаем. Ну, еще из ее жизни такая история, которую тоже все на химфаке знали. У нас последняя комната уже перед лифтами, которые не самые дальние, а средние. Там работал Зефиоров Николай Серафимович, он, наверное, был еще аспирантом, но у него была целая группа студентов. И вот однажды — а я тоже в этом коридорчике — мы все слышим, что раздается взрыв. Там часто у него было: они ставили один синтез, где обязательно должен быть взрыв. Все уходило из комнаты, а потом раздавался радостный вопль, если в колбочке что-нибудь оставалось. А тут раздается взрыв, какие-то крики.. Мы выскакиваем в коридор и видим страшную картину: бежит

человек-факел, девушка, пылает, и за ней несется Елена Григорьевна. Мы все туда кинулись. Возле лифта она, как вратарь в футболе, бросается, хватая девушку за ноги, валит на пол, потому что та уже в полном безумстве бежала, и мы все уже навалились, затушили. Она сильно обгорела... Не буду фамилии называть, она жена известного академика-химика, и она тоже всегда эту историю вспоминает, когда мы с ней пересекаемся. Вот такой был самоотверженный человек. У нее, в общем-то, не было никакого домашнего хозяйства, ничего... Она кушала только здесь. В воскресенье приезжала в столовую сюда, в университет, потому что...

Т.Б.: Так привыкла.

М.А. Прокофьев

А.Б.: Так привыкла, да. Однажды нужно было сдавать странички по английскому языку. Я думаю что-нибудь интересенькое почитать, говорю: «Елена Григорьевна, дайте какую-нибудь литературу». А литературу она не читала и английского языка не знала. «Хорошо, — говорит, — я поговорю с Михаилом». Для меня это ничего не означало. Она говорит: «Михаил...» А поскольку она Михаила Алексеевича Прокофьева знала со студенческих времен, они были на «ты», «Лена» — хотя она была старше на несколько лет, — «Михаил»... Она говорит: «Михаил, тут у меня один парень из деревни, вроде бы ничего. Вот он литературу просит». Он говорит: «Что за парень?» — «Да Лешка Богданов». Он говорит: «Какой Лешка Богданов?» — «Ну, Богданов, Алексей». А он, наверное, про меня слышал, потому что его дочка Марина училась на нашем курсе, и у нас была одна компания студенческая. Он говорит: «Ну какой он из деревни, у него отец профессор на геологическом факультете!» И он принес целую пачку статей. На самом деле по-настоящему я понял смысл того, что он начал тогда со мной делать, когда к его 100-летию готовился. Тогда до меня уже все глубоко дошло. Потому что он мне принес статью Уотсона и Крика, есть такая классическая работа, где двойная спираль ДНК и все, что вокруг нее.

Т.Б.: То есть основы фактически?

А.Б.: Да, но литература-то какая была — в общем-то запрещенная, то есть литература про гены.

Т.Б.: Ну да, еще тогда космополитизм был в разгаре...

А.Б.: Да нет, Лысенко был в разгаре. А у Михаила Алексеевича ситуация была очень непростая. Когда громили биофак, он был секретарем парткома МГУ. Сейчас, когда копался во всяких материалах, я понял, что он старался что-то смягчить, но все-таки в одном своем интервью самом позднем он говорит, что Ивана Ивановича Шмальгаузена, антилысенковца знаменитого, академика, увольнял из университета. Но при этом, произнося огромное количество пламенных речей, связанных со строительством нового здания университета, и там, и сям, и на всяких съездах и всем прочем, он ни разу против вейсманизма-морганизма не выступил. И это установил не я. Это опять же связано с соросовской программой. Дело в том, что Марк Ефимович Вольпин выставил его в заслуженные соросовские профессора, что было для него тогда... получить лишние 200 долларов, когда он был на пенсии... В реформу павловскую у него были какие-то накопления — он был скромнейший человек, но что-то такое накопил, — и это все исчезло. И он в своих воспоминаниях, в общем-то личных, но мне его дочь некоторые кусочки дала, говорит: «Вот до чего я дожил, от американского миллиардера получаю...» Так вот, дело в том, что руководитель этой программы Валерий Николаевич Соيفер, историк науки, усиленно занимался проверкой тех, кто мог как-то засветиться в лысенковщину, и

нескольким людям — я считаю, это было совершенно несправедливо — нескольким людям заслуженного профессора не дали, потому что они выступали на стороне Лысенко.

Прокофьев для него сделал когда-то, как он считает, очень хорошую вещь: из Тимирязевской академии

перевел его на физфак. Он просился, ходил к нему как к замминистра высшего образования, и тот его перевел. И все-таки здесь был большой поиск. У него какая-то система поиска в Библиотеке конгресса США, они там прочесывали и многих находили, их выступления, так сказать, за Лысенко. У Прокофьева не нашли ничего, а покопались как следует, так что заслуженного соросовского профессора он получил. И теперь уже, анализируя, что он мне давал тогда читать, какие доклады он меня с третьего курса заставлял делать, — это все была подготовка к работе, в которую он меня потом втянул, после окончания университета.

Т.Б.: А началось все с тех статей?

А.Б.: Началось с этих статей. Меня ему представили курсе на третьем: Елена Григорьевна меня ему показала, и он меня включил... У него был маленький семинар, ну как маленький — мы там по три-четыре часа сидели, просто группа была маленькая, каждую субботу с десяти до часу у нас был семинар, а потом приходил декан со всякими просьбами химфаковскими — очередной декан. Сначала Александра Васильевна [Новоселова], потом кто там был после нее? Топчиева. С Иваном Фомичом [Луценко] они вообще были большие друзья...

Т.Б.: Алексей Алексеевич, мы продолжим или у вас время поджимает?

А.Б.: У меня есть еще полчаса.

О преподавателях химического факультета МГУ

Т.Б.: Значит, тогда про студенческие годы как раз можно рассказать, может быть, о лекторах.

А.Б.: Что может быть лучше студенческих лет? Я считаю, что мне везло. Ну, может быть, аналитическая химия у меня не оставила особенного следа в плане преподавателей. Я уже говорил, что был замечательный педагог по неорганике. Мало того, что химии она нас учила, но главное — она учила думать, она удивительно умела учить придумывать такие вопросы, такие задачки: ты вот подумай... И по-моему, нас всех на «вы» называла. Она очень рано умерла, и она еще была из замечательной семьи. Ее отец был на геологическом факультете тоже профессор, достаточно популярный. И как-то мой отец говорит: вы знаете, мой сын у вашей дочери учится. Тот отвечает: «Которая здесь или которая там?» Потому что на геологическом факультете еще одна его дочь работала. А она была невесткой Тамма, знаменитого физика, по-моему, жив еще, и альпинист именитый, нобелевский лауреат. Ну, тогда он не был нобелевским лауреатом. Но вот что я недавно узнал: у нее еще был великий дядя, брат отца, знаменитый генетик Четвериков, которого Лысенко, конечно, постарался [изгнать]. Он потом, когда его отовсюду выгнали, работал в Нижнем Новгороде, в Горьком. И там он очень большой след оставил, я как-то был в этом университете, там доски висят, ему посвященные. Он действительно классик, классик классической генетики, абсолютно признанный. На уровне нобелевских лауреатов и всего прочего. А в органике я был у Александра Евгеньевича Агрономава.

Т.Б.: Ой, и я тоже!

А.Б.: Ну, тогда вам не нужно рассказывать, кто такой был Александр Евгеньевич.

Т.Б.: Нет, все равно нужно рассказать.

А.Б.: Это легенда, легенда!

Т.Б.: А чем он вам особенно запомнился?

А.Б.: Ну как, во-первых, невероятный энтузиазм, и он замечательно учил, ну просто замечательно. Органическая химия, конечно, была другая в то время. Читал нам лекции Александр Николаевич Несмеянов, и она была «несмеяновская», «чичибабинская» — учебник был Чичибабина. То есть это совсем не так, как учат органике сейчас, всякие электронные представления — они были на минимуме, но много было дел фактических, и много работы с веществом. Это то, что Александр Евгеньевич обожал: чтобы

все было сделано чисто, чтобы было получено соединение максимальной чистоты, чтобы кристаллики так кристаллики, и все показатели преломления, температура плавления, чтобы все это было... И чтобы прибор был собран хорошо. И он очень поддерживал тогда то, что я у Елены Григорьевны работаю, очень ее уважал, и она его очень уважала. И такую курсовую работу, я помню, они мне закатили — дай боже!

Т.Б.: А какую? Тему не помните?

А.Б.: Нет, я помню, что это были модификации урацила. На самом деле она у меня хранится где-то. Там было шесть стадий... И конечно, она все время проверяла, как я коллоквиумы сдаю.

Т.Б.: Держала руку на пульсе.

А.Б.: Да, конечно. И потом он был куратором нашей группы. С нашей группой очень возился, вечера устраивал, шарады показывал. Позже начал ездить на целину. С людьми, с которыми на целину ездил, был всегда очень близок. И второй раз я с ним встретился, когда практикум по органической химии мне пришлось вести. Я сначала вел у биологов-вечерников, потом у биологов дневных, потом у химиков-вечерников и потом дошел до химиков нормальных. И вот два года мы с ним в группе были пополам. И это было намного тяжелее, чем у него учиться.

Т.Б.: А почему?

А.Б.: Мы в это время, как назло, переезжали в этот корпус, и я все время отвлекался. И он мне мозги прочищал периодически, что я студентов бросил. Что это там лохматое у вас? У него сейчас волосы загорятся. И почему у вас так собран прибор? В общем, он все время наблюдал, что я делаю, как с ними занимаюсь. И пропесочивал меня очень здорово.

Т.Б.: По делу?

А.Б.: Конечно по делу, это тоже была школа. Мы с ним два года так проработали. Он меня просто взял к себе под крыло. И мы с ним тоже очень общались много после этого, я всегда к нему приходил.

Т.Б.: А кто еще из преподавателей запомнился, из лекторов?

А.Б.: Для меня, я бы сказал, три лектора, которых запомнил я на всю жизнь. Все были замечательные. И Виктор Иванович Спицын, и Алимарин. Герасимов — это было довольно скучно, физическая химия... Но больше всего — лекции Несмеянова, которые я выслушал от начала до конца, не пропуская ни одного слова. Потрясающий курс строения вещества нам прочитал Полторак. Не знаю, делал он это еще раз или нет, я потом не слышал. В общем, это был один семестр, который засел на всю жизнь, потому что мне потом приходилось заниматься спектрами, еще чем-то. В общем, я бы сказал, что физическую химию я гораздо больше вынес из этого курса, чем из курса физической химии. Там мне было скучно, и там я много прогуливал. И еще был у нас один замечательный курс, уникальный, он больше этих лекций не читал. Такой был Владимир Ксенофонтович Семенченко на физфаке. Вообще-то он был классик по физике растворов, так скажем. А нам читал квантовую механику, один семестр. Мне его еще было интересно слушать, поскольку мы были соседи, у нас квартиры рядом. И он был замечательный еще пианист, и до последних лет — ему было лет девяносто, когда он умер, — он играл на рояле. А все было слышно, как он играет. Между прочим, еще когда я на первом курсе учился, он меня попросил на скрипке заниматься где-нибудь в другой комнате — ему не понравилось то, что я производил.

” Он был человек с огромным чувством юмора, исключительной культуры. Например, уравнение Шредингера — это надо было записывать, конечно, потому что все потом выветрилось — уравнение Шредингера он нам иллюстрировал по частям стихами Блока.

Т.Б.: Вот это да!

А.Б.: Он нам внушал: вы химики, вы все равно квантовую механику по-настоящему знать не будете, но это поэма, это стихи, это надо воспринимать, так сказать, на чувственном уровне. А начал он с того, что... Это третий курс был, 1955 год, и все, так сказать, по-прежнему кипело, все эти переезды в Главное здание, какие-то бесконечные вечера, хор все время наш пел...

Т.Б.: А 1955-й — это как раз юбилей университета.

А.Б.: Да, еще 200 лет было университету. И вот мы сидим, курс у нас был очень большой, огромный. Вообще, курс у нас был замечательный, в этом смысле тоже очень повезло, много было ярких людей. Нас было, по-моему, триста двадцать или триста сорок человек, и поэтому все лекции нам читали в Большой химической, нигде мы больше не помещались. И вот открывается дверь Большой химической аудитории, мы сидим, лектора нет, дверь открывается... И вдруг очень таким — он еще петуха иногда давал, такой голос был, — и вдруг оттуда, из коридора раздается: «Еще Михал Василич Ломоносов...» — и входит этот старичок.

Т.Б.: Он вам семестр читал или это годовой был курс?

А.Б.: Нет, квантовой механики всегда был один семестр. Он потом очень расстроился, когда экзамены принимал, говорит, что все впустую: все плохо отвечали, хотя он разрешил пользоваться лекциями. <...> Курс физики нам читал старичок, забыл, как его фамилия, ученик Резерфорда. Он в калошах приходил, нам казалось, ему лет сто пятьдесят. Знаете, когда я анализировал возраст наших лекторов, которые казались такими пожилыми — тот же Спицын, Александр Николаевич Несмеянов, — им было-то всего по пятьдесят с чем-то...

Т.Б.: А Хомченко читал что-то?

А.Б.: Несколько лекций читал. А может, просто читал биологам, скажем, и мы его видели, не знаю... Вот физику нам читал легендарный старичок, но ничего не было слышно... *(Смеются.)*

Т.Б.: А какие еще занятия интересные?

А.Б.: Покаюсь перед камерой: я больше любил чем-то другим заниматься во время лекций. И поэтому послушал лишь несколько лекций Вольфовича, несколько лекций Ребиндера, хотя это были тоже яркие лекции.

Симфонический оркестр Московского университета

Т.Б.: А из других университетских впечатлений, может, о какой-то общественной работе?

А.Б.: Знаете, я общественной работой начал заниматься позже, когда работать начал. А здесь у меня все мое свободное время было занято, во-первых, симфоническим оркестром Московского университета...


Т.Б.: Так об этом почему вы не рассказываете?

А.Б.: Я все-таки школу музыкальную закончил, у меня какой-то уровень был, и об этом оркестре я слышал. Помню сам оркестр, когда еще в университете не учился. Отец меня водил на праздники, которые устраивались в Колонном зале. И там выступал симфонический оркестр университета, и я подумал, что надо мне туда попробовать. И когда на химфак поступил, я не знал, как туда [попасть], какие пути найти. Тем более что они всегда в старом здании находились, в старом клубе. Но тут я познакомился с одним второкурсником, Мишей Турчинским, он был приятелем моего одношкольника Олега Чижова. Как-то мы с Мишей разговорились, и оказалось, что Миша в этом оркестре играет. Миша меня туда привел, у нас был в то время очень хороший руководитель, дирижер Михаил Никитич Дориан. Это очень крупный музыкант, он вообще-то альтист, и был такой квартет имени Комитаса, где он [играл]. Он был профессором Московской консерватории, вел класс альты, вел потом оркестр в Московской консерватории. Но поскольку он был классный музыкант, очень интересный, яркий человек, его все

обожали, и он абсолютно всерьез этим занимался. Оркестр был действительно университетский, процентов на восемьдесят. Туда просто некоторые инструменты — ну нельзя было найти в университете человека, который играет, например, на... Нет, гобой у нас был свой, и флейта у нас была своя, один геолог... А вот человека, который играет на валторне, нельзя было найти. Или нужно было как минимум две. Он тогда приводил своих студентов из консерватории, которым клуб платил какие-то ерундовые, но все-таки деньги. Мы тогда подружились с некоторыми ребятами, которые потом стали известными музыкантами.

Т.Б.: То есть вы пришли, и были прослушивания?

А.Б.: Нет, он меня прослушал, сказал: «Вот это сыграй, это сыграй». И посадил во вторые скрипки концертмейстером. Потом, когда Михаил Никитич от нас ушел, была пересменка дирижеров, и мы с Мишей пересели самовольно в первые скрипки, на последний пульт, и просидели там до распада оркестра. А оркестр распался, вообще говоря, естественным путем, потому что все трудней было поступать людям в университет, которые, скажем, школу музыкальную окончили. У нас были люди — я вот с ними до сих пор дружу, скажем, Володя Баранов, наш концертмейстер, он окончил Центральную музыкальную школу. То есть он играл очень хорошо, но поскольку он выдающийся математик, пошел на мехмат. Его жена, моя ровесница, на биофаке училась. Она в консерваторию вообще-то поступала, училище окончила при консерватории. В общем, было несколько ключевых людей в оркестре, которые были выше обычной музыкальной школы-семилетки, которые десять лет отучились, а кто-то даже начинал учиться в консерватории. У них был очень хороший уровень, они за собой тянули, поэтому мы играли вполне серьезную музыку. Но где-то года через четыре все меньше и меньше...

 **Старшие куда-то уходили или кончали университет, уезжали, а младших появлялось очень мало, поэтому мы лет через пять органически перешли в камерный оркестр.**

У нас был очень хороший дирижер, тоже профессор консерватории. Несколько лет мы играли в камерном всякую барочную музыку. Какое-то время существовали. Ну а потом семьи появляются, люди начинают отпадать. А здесь очень мы активно этим занимались, выступали на [Всемирном] фестивале молодежи и студентов — там был профессиональный конкурс. А был еще непрофессиональный конкурс, мы там заняли первое место среди любителей в 1957-м году. Университет нас поддерживал, мы базировались в старом здании и не хотели сюда, в новое переезжать, потому что было у нас очень много гуманитариев. Да, и там был театр, замечательный совершенно. Там был Ролан Быков... Сначала Ия Саввина у нас была конференсье в оркестре, потом ушла в актрисы. Это тоже очень сильно, надо сказать, отвлекало от общественной работы.

Т.Б.: Ну это тоже, можно сказать, общественная работа.

Межфакультетские лаборатории и кафедра ХПС

А.Б.: Еще на химфаке спорт процветал. Так что спортом тоже нужно было заниматься. А уж когда я закончил, думаю, все тот же Зломанов меня втянул сначала в комсомольскую деятельность, потом я был в партийном бюро — за учебную работу отвечал. Ну а в 1969-м я с химфака перешел... Сюда-то мы переехали в 1966 году, в 1965/1966-м переезжали, и кафедра в этот момент возникла: химия природных соединений. А в 1969-м Илья Васильевич ушел в деканы. Он здесь был ключевой фигурой, когда мы организовывались в этом корпусе. В межфакультетской лаборатории он был заместителем Белозерского. Странное было образование: три межфакультетских лаборатории здесь, в этом здании — Колмогоров, Гельфанд и Белозерский. Одна называлась... что-то такое о математической статистике или теории вероятностей, Гельфанд — это математические методы в биологии, и Белозерский — тогда ее называли биоорганическая химия, потому что Андрей Николаевич все еще был осторожен, он не хотел

ее называть никакими словами...

Т.Б.: Связанными с генетикой или чем-то таким?

А.Б.: Даже «молекулярная биология» — слово такое было еще не очень... Он, конечно, перестраховывался тогда. А потом две лаборатории слились, Гельфанда и Белозерского, это уже существенно позже, а колмогоровская лаборатория закрылась, они все перешли на кафедру теории вероятностей на мехмат, и до сих пор у нас тут живет какая-то часть, в этом здании. А с Гельфандом мы слились. Ну, в лаборатории биоорганической химии центральной фигурой был Андрей Николаевич, он уже тогда стал вице-президентом Академии наук. Он очень много для нас делал, и его именем мы прикрывались, но вся работа создавалась Березиным. Он нашел общий язык с биологами, потому что все-таки собрались с разных частей университета, все было достаточно сложно, но Илья Васильевич хорошо находил общий язык. А в 1969-м его сделали деканом, и он ушел на химфак. Там организовал кафедру химической энзимологии, здесь продолжал с нами довольно тесно сотрудничать. Но меня посадил вместо себя, я тогда уже был доцентом на химфаке, я перешел в институт, вернее, в лабораторию, а потом она стала институтом.

Т.Б.: А как сочетается работа внутри института с работой кафедры ХПС? Организационно они как-то коррелируют, связаны, не связаны?

А.Б.: Дело в том, что когда этот дом задумали строить, задумал его Каргин. И был он гораздо меньшего объема, ведь у кафедры высокомолекулярных соединений вообще не было помещения, они частично сидели на радиохимии, на коллоидной химии. Все были разбросаны, и Каргин — все-таки он был могущественный человек — добился того, что... Это было очень трудно. Времени прошло семь-восемь лет после того, как все запустили. Даже меньше, потому что биофак открывали позже, еще какие-то здания тоже позже, то есть вроде как только что создали весь комплекс, а тут еще какой-то новый дом. Но он это дело пробил. Решили, что нужно такое место, где могли бы заниматься молекулярной биологией, новой биологией. Все, что было разрушено в генетике, в университете он хотел восстановить. Естественно, Андрей Николаевич Колмогоров, которого он боготворил, Петровский — он хотел для него здесь что-то сделать, для Гельфанда, которого тоже очень высоко ценил и который тогда считался математиком номер один в мире. И вот это он все хотел собрать здесь. У него была идея, что тут будет насыщенное умственное поле, все будут жить в одном доме — очень мудро на самом деле. Как-то друг с другом общаться, обогащать и так далее. Михаил Алексеевич решил, что пора создавать кафедру. Между прочим, мы тут не сразу в планах появились, тут должен был химию, близкую к природе, Алексей Николаевич Кост... Но получилось так, что...

Т.Б.: Правильно, у него ж биологически активные соединения...

А.Б.: Ну да, получилось так, что он сюда не попал. Икто-то с коллоидной химии тоже сюда собирался, а все кончилось тем, что Прокофьев решил, что пора делать кафедру, настолько это уже получается с одной стороны обособленная, с другой — бурно развивающаяся область, что лучше делать кафедру. Тем более что с Белозерским они были близкими друзьями, семьями дружили, компания у них одна была здесь, в университете. Потом они, может быть, немного разошлись, но они замечательно всегда взаимодействовали. И Андрей Николаевич ему тоже посоветовал, что нужно, видимо, оформляться в виде кафедры, переезжать, место будет, у нас там уже тесно, и химфак был заинтересован, чтобы мы вытряхнулись. Собственно говоря, все кафедры, которые сюда переезжали, что-то оставляли на факультетах. Но Михаил Алексеевич принципиальный был человек — уехали и уехали, все. Здесь сразу довольно большое число людей было принято в штат этой межфакультетской лаборатории. Белозерский решил, что создаст здесь четыре химических отдела. Три — непосредственно связанных с кафедрой, и четвертый — Илье Васильевичу. Его тоже привел Прокофьев к Белозерскому, потому что Илья Васильевич в это время от стажировался в Гарварде, уже по ферментам. И он, так сказать, твердо решил заниматься кинетикой ферментативной. И делал у нас доклад про свою командировку, про все на свете, чем бы он хотел заниматься в лаборатории. И они договорились с Михаилом Алексеевичем, что тот его познакомит с Белозерским, Белозерскому позарез нужен был такой человек, который на самом деле

занимался бы всей организационной работой. И все складно получилось, но, в общем, все было от начала до конца джентльменским соглашением. Когда в начале 1970-х годов Белозерский и Петровский умерли, наступили тяжелые времена, потому что у нас здесь работал Сергей Адамович Ковалев, знаменитый человек, сотрудник нашей межфакультетской лаборатории. Он тогда получил семь лет литовской тюрьмы, и у нас были большие неприятности. В этот момент выяснилось, что даже нет приказа о нашей организации. Все эти межфакультетские лаборатории — они просто договорились, эти академики.

Т.Б.: Ну, а в штате чего состояли люди?

А.Б.: Все было, штатное расписание — все на свете, а приказа университетского о создании не было, не удосужились.

Т.Б.: Ничего себе! Оказывается, и так бывает. Такие административные казусы...

А.Б.: Так что мы, в общем, тогда с трудом уцелели. Много нам людей помогли...

Т.Б.: То есть это было отдельное административное образование внутри университета, как НИИ механики?

А.Б.: Ну да, с самого начала, по сути, это был институт типа НИИ механики, НИЯФа...

Т.Б.: Научно-исследовательское учреждение внутри университета...

А.Б.:... Института Штернберга... Да, только было принципиальное различие: те были монофакультетские. НИЯФ — это часть физфака, [Институт] Штернберга — тоже часть физфака, НИИ механики — отделение мехмата. А здесь, поскольку люди перемешались, они придумали такой статус межфакультетский... Михаил Алексеевич сказал: «Замечательно, часть сотрудников у нас идет по лаборатории биоорганической химии, часть — это сотрудники химфака, кафедры. Для меня никакого различия нет, вы единый коллектив. И вот есть две лаборатории на кафедре и три, соответственно, отдела, — это все единое, каждый из них един». Сейчас это уже не совсем так, какие-то лаборатории, скажем, химия нуклеиновых кислот, она в таком же статусе и работает, белок уже, так сказать, не совсем, третий отдел, мой когда-то — так получилось, что там уже больше связано с факультетом, который у нас при институте существует, — биоинженерии и биоинформатики, там оттуда сейчас берут студентов. Но тем не менее при Прокофьеве и в значительной степени при мне это все сохранялось как единый коллектив. И это было очень удобно, потому что можно было перемещать людей туда-сюда. Тем более что прокофьевское правило было такое: независимо от того, где находишься, ты преподаешь — если надо органику вести, идешь на органику...

Т.Б.: То есть даже если числишься по штату в этой межфакультетской лаборатории, все равно могли направить преподавать?

А.Б.: Да, ну и курсы все, соответственно, читались тоже. Тут никакого различия не делалось. И по науке тоже, конечно, наука едина у всех. И что для кафедры было очень существенно — Петровский с Белозерским, Колмогоровым и Каргиным, они не просто все это создали, а пять лет вся валюта университета шла сюда. Ее было не так уж много, но все-таки существенно. Знаете, как закупалось оборудование? Закупалось оно в основном на выставках, были выставки оборудования одна за другой. И это покупалось на выставке и тащилось сюда.

Т.Б.: Ну, там же еще скидки бывают на выставках...

А.Б.: Ну да, потом они все-таки устанавливали для нас эти приборы, а Илья Васильевич еще тогда придумал методические отделы, то есть это все оборудование, оно не раздавалось по лабораториям, а он создал несколько методических отделов — электронная микроскопия — все вместе, спектроскопия высокого уровня тоже вся была объединена, хороший спектрофотометр...

Т.Б.: То есть такие межлабораторные приборные центры?

А.Б.: Да, они назывались методические отделы. В общем, туда брались люди сильные достаточно и по науке... Там всегда была наука у них, а в то же время, попросту говоря, приборы, хорошие инженеры, мастерские тогда очень хорошие сделали, не так, как сейчас. Сейчас почти ничего не осталось, потому

что приезжают фирмы, ремонтируют приборы, а раньше все это делалось собственными силами. Но это было, что называется, общего пользования. В понедельник запись: люди пришли, записались, там есть лаборанты, есть инженеры, которые уже знают, кого можно самого пустить на прибор. На аналитическую центрифугу никогда никого не пускали. Мы объединились с полимерщиками,

” у нас до сих пор единственные остались аналитические центрифуги в нашем государстве.

И в общем то, что называется нынче центром коллективного пользования, все до сих пор работает, между прочим.

Т.Б.: А создавалось впервые в рамках Института Белозерского?

А.Б.: Нет, это лаборатория была. Где-то мы объединялись, с математиками к примеру. У них до сих пор есть библиотека имени Колмогорова, они нас тогда туда пускали. А потом Илья Васильевич придумал году, наверное, в 1967–1968-м отдел информации. Такого ничего в университете не было.

Т.Б.: Да, это тоже полезная вещь.

А.Б.: Поскольку у нас не было своей библиотеки никогда, на просмотры с биофака, химфака, биоорганической химии и так далее привозили сюда журналы. Вначале ксероксы были, страница за десять минут, но потом это все улучшалось и улучшалось, и потом люди просто заказывали ксерокопию, журналы эти назад отвозили, а у нас тут библиотека, точнее не библиотека — хранилище скорее, только по отечественным журналам. Кто в редколлегиях — тоже отдавал свои журналы. Но это было его замечательное изобретение. Потому что сейчас, когда началась эта катавасия с импакт-факторами, поиском самых лучших публикаций, — то, что ректорат сейчас делает, премии выдает, цитирование... Это, правда, была скулачевская идея, уже Илья Васильевич ушел, — на переаттестациях с начала 1970-х годов уже нашли этот самый сайт *citationindex*, и всегда был человек, который это профессионально мог делать, поэтому все, кто аттестуется, им всегда потом показывают слайд динамики их цитирования. Оргвыводов никогда не делали, но...

Т.Б.: Но знать должен! (*Смеются.*) Это вообще, наверное, правильно, что этим занимаются специальные люди...

А.Б.: Нет, у нас один человек на этом сидит. И когда-то для нас микроскописты печатали фотографии, слайды; когда были слайды, они делали слайды — по мере того, как техника развивалась.

Т.Б.: Информационное обеспечение развивалось тоже.

А.Б.: Никогда не было проблем со слайдами, с ксерокопированием. Это тоже была идея Ильи Васильевича, очень хорошую взяли переводчицу английскую, которая статьи переводила на английский язык — потом в Америку уехала от нас.

Т.Б.: Ну да, получила опыт. Хорошо, Алексей Алексеевич, тогда, наверное...

А.Б.: Рассказ несколько сумбурный получился.

Т.Б.: Нет, в принципе до конца студенческих лет ваших мы добрались, и, по-моему, вполне последовательно.

А.Б.: В следующий раз самое время рассказать про Прокофьева.

Т.Б.: Про зарождение всего этого направления и про Прокофьева, про становление кафедры и параллельно ваше тоже, поскольку это в какой-то части совпадает.

А.Б.: Ну конечно, вся жизнь совпала, наложилась.

